ЛѢТОПИСНЫЯ



ЗАМѢТКИ

1

ЛЕТОПИСНЫЕ ЗАМЕТКИ

ЦЕНА КНИГИ

АДРЕС РЕДАКЦИИ И СКЛАДА:
„BARMHERZIGER SAMARITER“
BÜCHER — VERTRIEB
MÜNCHEN 27, MAUERKIRCHERSTR. 5



В одном религиозно-философском журнале довоенного, предгрозового времени, в предчувствии наступающих потрясений, было сказано:

> „Православная культура есть для нас то, что истинно направлено к осолению мира и человека. Православная культура есть неложное приятие семян Слова и охрана этих семян в мире, в душе и в культуре человека. Православная культура есть преданность Богу, пред лицом богопротивления. Православная культура есть легкая и тихая поступь в мире; божественное, синтетическое единство знания и веры.
>
> Мы исповедуем Христа-Логос, на всех путях человеческой культуры. Это означает, что мы посвящаем свою человеческую и миросозерцательную жизнь только Логосу; жизнь и историю мира — только Ему."

Всецело разделяя эти высокие мысли, мы верим, что только приобщение души к христианской, в частности православной, культуре сможет направить нас в сторону добра и дать миру столь желанное умиротворение.

Редакция «Летописных Заметок»

ЛЕГЕНДА
О ВЕЛИКОМ ИНКВИЗИТОРЕ

Легенда о Великом Инквизиторе, не только философски, но и литературно-формально труднейшая часть романа Достоевского. Помимо своей чисто-религиозной глубины, трудна она еще, для своего понимания и истолкования, тем, что в ней три нити, три линии мыслей не параллельно идут в развивающемся повествовании, но вплетены в одну нить.

Говорит Великий Инквизитор, говорит в нем его первый выразитель Иван Карамазов и говорит в нем, независимо от Ивана, сам Достоевский.

Инквизитор есть, в сущности тот же дух, который является в кошмаре Ивана. Только там он — „господин в потертом пиджаке", здесь он в величественном одеянии кардинала.

Все, что говорит Инквизитор так остро противуположно Христовой истине, что от этого противуположения истина Христова приобретает еще большую выразительность и сияние. Вещания - необычайно тонкие - в опровержение Христианства, обращаются в гимн Христу, что и заметил Алеша. Неожиданно для некоторых, Достоевский выявляет, что в глубины самого тонкого неверия, в тайны его противления Богу, по настоящему могут проникнуть лишь верующие во Христа. В своей вере и любви ко Христу, мудрости Божественной, они содержат возможность воспроизвести наиболее острые доводы против своей же истины... По сравнению с ними, доводы неверующих остаются бледными. Такова удивительная апологетика Легенды о Великом Инквизиторе.

- Конечно, она и в том, что Христос в молчании, которое громче всех восклицаний и значительнее всех философий, приближается к своему глубокому врагу и — целует его, целует его человечность сквозь лепет всех его злых и лживых слов. Еслиб не было этой любви, кто бы из нас жил? Молчаливая любовь страдающей в мире Истины, — любовь к нам страдающей от нас Истины, — что может быть прекраснее этого? Даже на небе может быть не будет этой красоты, ибо там родной дом небесной любви. Здесь она — странница терпеливая; там она будет уже хозяйкой мироздания.

Достоевский выявил в Легенде, как и во всем творчестве своем это метафизическое странничество Христово в мире. Какими жалкими кажутся слова, пытающиеся опровергать дело Христово в мире, на основании того или другого недостоинства христиан, людей.

Инквизитор, дух насилия, дозволяющий людям в меру грешить, лучше понятъ большинством человечества, чем Христос. Те полуистины, то фальшивое золото забот о благе человечества, за которыми он скрывается, влечет людей более в мире, чем истинное золото Правды и Любви. Но ведь Христос это видит и знает... В этом сущность Его Голгофы, — не иметь права спасти любимого человека... Право ведь ему дается только верой самого человека...

„... У нас в Москве, в до-Петровскую старину, такие же почти драматические представления, из Ветхого Завета особенно, тоже совершались по временам. Но кроме драматических представлений по всему миру ходило тогда много повестей и „стихов", в которых действовали по надобности святые, ангелы, и вся сила небесная. У нас по монастырям занимались тоже переводами, списыванием и даже сочинением таких поэм, да еще когда, — в татарщину... Ну вот и моя поэмка была бы в том же роде, если бы явилась в то время," говорит Иван, „У меня на сцене является Он; правда, Он ничего не говорит в поэме, а только появляется и проходит. Пятнадцать веков уже минуло тому, как Он дал обетование придти в Царствии Своем, пятнадцать веков, как пророк Его написал: „Се гряду скоро", „ О дне же сем и часе не знает даже и Сын, токмо лишь Отец Мой Небесный", как изрек Он и Сам еще на земле. Но человечество ждет Его с прежней верой и с прежним умилением. О, с большей даже верою, ибо пятнадцать веков уже минуло с тех пор, как прекратились залоги с небес человеку".

Вкрадывается первая передержка Господина в потертом пиджаке, выглядывающего из Кардинальских одежд... Как это „пятнадцать веков прекратились залоги с небес?" Обилие залогов вечной жизни наполняет мир. Но эти залоги открываются только внутренним глазам человека: глазам веры и любви. Не-пораженный чудом приобретает способность любить, но любящий приобретает способность видеть чудеса в мире, во всей жизни своей. По мере любви мир становится чудесен.

Отвлеченный мыслитель Иван Карамазов — образ рационалистического и одновременно романтического, человеко-центрического мышления. Он не имеет внутреннего аппарата, чтоб уловить волны

„залогов" вечности и Истины в мире. У Ивана нет проводника чистой интуиции, себе не доверяющего, но Богодоверчивого сердца.

„Правда", было тогда и много чудес. Были святые, производившие чудесные исцеления; к иным праведникам, по жизнеописаниям их, сходила сама Царица Небесная. Но дьявол не дремлет, и в человечестве началось уже сомнение в правдивости этих чудес. Как раз явилась тогда на севере, в Германии, страшная новая ересь. Огромная звезда „подобная светильнику" (то есть Церкви), „пала на источники вод, и стали они горьки". Эти ереси стали богохульно отрицать чудеса. Но тем пламеннее верят оставшиеся верными. Слезы человечества восходят к Нему попрежнему, жгут Его, любят Его, надеются на Него, жаждут пострадать и умереть за Него, как и прежде... И вот, столько веков молило человечество с верой и пламенем: „Бог Господь явися нам", столько веков взывало к Нему, что Он в неизмеримом сострадании Своем возжелал снизойти к молящим. Снисходил, посещал Он и до этого иных праведников, мучеников и святых отшельников еще на земле, как и записано в их „житиях". У нас Тютчев, глубоко веровавший в правду слов своих, возвестил, что

Удрученный ношей крестной
Всю тебя, земля родная,
В рабском виде Царь Небесный
Исходил, благословляя.

Что непременно и было так, это я тебе скажу. И вот Он возжелал появиться хоть на мгновение к народу — к мучающемуся, страдающему, смрадно-грешному, но младенчески-любящему Его народу. Действие у меня в Испании, в Севилье, в самое страшное время инквизиции, когда во славу Божию в стране ежедневно горели костры и

В великолепных автодафе
Сжигали злых еретиков.

О, это, конечно, было не то сошествие, в котором явится Он, по обещанию своему в конце времен, во всей славе небесной, и которое будет внезапно, как молния, блистая от востока до запада."

Здесь, как молния, прорезывает повествование мысль самого Достоевского. И в дальнейшем, мысль, в самые „духовно-критические" минуты, как молния прорезывает повесть и сразу раскрывает мысль Инквизитора. Можно сказать, что художественная картина, нарисованная Достоевским, есть некая картина различной мозаики. Вдруг видно, как сквозь Инквизитора Достоевский говорит сам, взлетает его чистая светлая мысль, его любовь к Богу, вся глубина этой

любви. Но тут же он щедро попускает злому духу говорить его „истины". Это не противоречит художественной правде; злой дух иногда принужден говорить правду хоть и ненавидит ее.

„Нет, Он возжелал хоть на мгновение посетить детей Своих и именно там, где как раз затрещали костры еретиков. По безмерному милосердию Своему, Он проходит еще раз между людей в том самом образе человеческом, в котором ходил три года между людьми пятнадцать веков назад. Он снисходит на „стогны жаркие" южного города, как раз в котором, всего лишь накануне, в „великом автодафе", в присутствии короля, двора, рыцарей, кардиналов и прелестнейших придворных дам, при многочисленном населении всей Севильи, была сожжена кардиналом, Великим Инквизитором, разом чуть не целая сотня еретиков „ад майорем глориам Деи". Он появился тихо, незаметно, и, вот, все-странно это-узнают Его. Это могло бы быть одним из лучших мест поэмы, — то есть, почему именно узнают Его. Народ непобедимою силою стремится к Нему, окружает Его нарастает кругом Него, следует за Ним. Он молча проходит среди их с тихою улыбкой бесконечного сострадания. Солнце любви горит в Его сердце, лучи Света Просвещения и Силы текут из очей Его и, изливаясь на людей, сотрясают их сердца ответною любовью. Он простирает к ним руки, благословляет их, и от прикосновения к Нему, даже лишь к одеждам Его, исходит целящая сила. Вот, из толпы восклицает старик, слепой с детских лет: „Господи! исцели меня, да и я Тебя узрю", и, вот, как бы чешуя сходит с глаз его, и слепой Его видит. Народ плачет и целует землю, по которой идет Он. Дети бросают перед ним цветы, поют и вопиют Ему: „Осанна!" Это Он, это Сам Он, повторяют все, это должен быть Он, это никто как Он". Он останавливается на паперти Севильского Собора в ту самую минуту, когда во храм вносят с плачем детский открытый белый гробик: в нем семилетняя девочка, единственная дочь одного знатного гражданина. Мертвый ребенок лежит весь в цветах. „Он воскресит твое дитя", кричат из толпы плачущей матери. Вышедший на встречу гроба соборный патер смотрит в недоумении и хмурит брови. Но, вот, раздается вопль матери умершего ребенка. Она повергается к ногам Его: „Если это Ты, то воскреси дитя мое!" восклицает она, простирая к Нему руки. Процессия останавливается, гробик опускают на паперть к ногам Его. Он глядит с страданием, и уста Его тихо и еще раз произносят: „Талифа куми", — „ и возста девица". Девочка поднимается в гробе, садится и смотрит, улыбаясь удивленными раскрытыми глазами кругом. В руках ее букет

белых роз, с которыми она лежала в гробу. В народе смятение, крики, рыдания, и, вот, в эту самую минуту вдруг проходит мимо собора по площади сам кардинал, Великий Инквизитор. Это девяностолетний почти старик, высокий и прямой, с иссохшим лицом, со впалыми глазами, но в которых еще светится, как огненная искорка, блеск".

Это говорит Иван Карамазов, и сейчас же Достоевский пускает свою молнию:" О, он не в великолепных кардинальских одеждах своих, в каких красовался вчера перед народом, когда сжигали врагов Римской веры; нет, в эту минуту он лишь в старой, грубой монашеской своей рясе. За ним в известном расстоянии следуют мрачные помощники и рабы его и „священная" стража. Он останавливается перед толпой и наблюдает издали."

Это „О!" — то, что он не в великолепных кардинальских одеждах, в каких он красовался вчера перед народом, а в грубой монашеской рясе, — это „О" свидетельствует о том, что Достоевский вывел Великого Инквизитора не как духа какого нибудь определенного социального положения в мире, но как некую фигуру души мира сего, которая может появиться и в кардинальской мантии, и в грубой одежде; иначе, Достоевский нам говорит, что те декорации, которые мы сейчас видим, т. е. Испанию, Севилью, кардиналов средневековья, — только декорации; в них действующий злой дух, может действовать в самых различных эпохах и обществах. Он может надеть и потертый пиджак.

„Он все видел, как поставили гроб у ног Его, видел, как воскресла девочка, и лицо его омрачилось. Он хмурит седые густые брови свои и взгляд его сверкает зловещим огнем. Он простирает перст свой и велит стражам взять Его. И вот, такова его сила, и до того уже приучен, покорен и трепетно послушен ему народ, что толпа немедленно раздвигается перед стражами, и те, среди гробового молчания, вдруг наступившего, налагают на Него руки и уводят Его. Толпа моментально вся, как один человек, склоняется головами до земли перед старцем-инквизитором. Тот молча благословляет народ и проходит мимо. Стража проводит Пленника в тесную и мрачную сводчатую тюрьму в древнем здании святого судилища и запирает в нее. Проходит день, настает темная, горячая и „бездыханная" севильская ночь. Воздух „лавром и лимоном пахнет." Среди глубокого мрака вдруг отворяется железная дверь тюрьмы, и сам старик, Великий Инквизитор, со светильником медленно вхо-

дит в тюрьму. Он один, дверь за ним тотчас же запирается. Он останавливается при входе и долго, минуту или две всматривается в лицо Его. Наконец, тихо подходит, ставит светильник на стол и говорит Ему: „Это Ты? Ты?" — но, не получив ответа, быстро прибавляет: „Не отвечай, молчи. Да и что бы Ты мог сказать? Я слишком хорошо знаю, что Ты скажешь. Да и Ты и права не имеешь ничего прибавлять к тому, что уже сказано Тобой — прежде. Зачем же Ты пришел нам мешать? Ибо Ты пришел нам мешать, и Сам это знаешь. Но знаешь ли, что будет завтра? Я не знаю, кто Ты, и знать не хочу: Ты ли это, или только подобие Его, но завтра же осужу и сожгу Тебя на костре, как злейшего из еретиков".

Зло не интересуется даже: Кто перед ним; Сам ли Воплощенный Бог; или человек, в котором живет Дух Божий; для духа зла это одинаково. Подлинно верующие люди являются членами Тела Христова, они носят в себе Свет Христов. Поэтому здесь нужно, конечно, понимать этот монолог Инквизитора, как произносимый и перед каждым истинно верующим христианином... Злой дух в Легенде накопляет свою абсолютную ложь, ее высказывает, но эта ложь озаряется безмолвным светом Христовым, перед которым она и произносится. Как сатана в пустыне, искушавший Господа, только выявил свое зло и сам себя обличил перед миром, также и эти злые мысли Великого Инквизитора, действительно, — как говорит впоследствии Алеша Карамазов, — являются „гимном Христу", ибо всякое обличение, обнаруживание, открытое узнавание этой неправды нашей и всего мира, в котором мы живем, — есть в сущности — слава наша Богу.

„... и тот самый народ, который сегодня целовал Твои ноги, завтра же по одному моему мановению, бросится подгребать к Твоему костру угли, знаешь ли Ты это? Да, Ты, может быть, это знаешь".

Опять подобие истины... Верно, многие так сделают и делают, но не все. И не может Инквизитор говорить про всех верующих во Христа людей, что они бросятся распинать Его.

—„ А Пленник тоже молчит? Глядит на него и не говорит ни слова.

— Да, так и должно быть, во всех даже случаях, — засмеялся Иван. — Сам старик замечает Ему, что Он и права не имеет прибавлять к тому, что уже прежде было сказано".

„Если хочешь, так в этом и есть самая основная черта Католичества — по моему мнению, по крайней мере: все дескать, пере-

дано Тобой Папе, и все, стало быть, теперь у Папы, а Ты хоть и не приходи теперь вовсе, не мешай до времени, по крайней мере. В этом смысле они не только говорят, но и пишут, Иезуиты, по крайней мере. Это я сам читал у их богословов. „Имеешь ли Ты право возвестить нам хоть одну из тайн того мира, из которого Ты пришел?" — спрашивает Его мой старик, и сам отвечает Ему за Него: „Нет не имеешь, чтобы не прибавлять к тому, что уже было сказано прежде, и чтобы не отнять у людей свободы."

Мы видим и в этом отрывке Легенды характерную для пера Достоевского, тяжеловатую саркастическую игривость. Это для Достоевского удобный фон для его специфического, острого и вместе с тем не подчеркнутого проникновения в тайны жизни. О глубочайшем Достоевский говорит как бы между прочим. Редко у кого так мало подчеркивается, так целомудренно - затаенно раскрывается глубокое... Но от этого оно только ярче.

Все распоряжаются Божией Истиной, все хозяйничают в мире с правдой, с Абсолютом. Даже многое и многое, что именуется христианством, имеет лишь отдаленное к нему отношение, а иногда является и остро-противуположным ему. Достоевский вскрывает миражи абсолютизации вещей не-абсолютных; он открывает человечеству опасность полюбить как Бога — не Бога, проявить свою религиозную свободу не в направлении и духе абсолютной Истины, явившейся с неба во Христе, но в направлении удовлетворения своего личного эгоистического или коллективно-эгоистического человеческого, даже звериного „я". И вот, выявляя это, Инквизитор высказывает, в сущности своей, чудовищную, но на самом деле такую обычную и живущую в подсознании многих людей мысль: „Христос не должен мешать моей жизни", „Христос не должен нарушать моих интересов. Христос права не имеет говорить мне больше того, что я сам хочу взять из Его слов. Степень Христова нарушения эгоистических интересов человека и обнаруживается как степень неверия человека в Христа. Конечно, если эти интересы торжествуют. Если же воля и любовь человека подчиняют их Христу, эти низшие интересы умирают, — Христос же воскресает, как сила дивного света, в душе человека."

„Да ты и права не имеешь ничего прибавлять к тому, что уже сказано Тобой — прежде", — говорит Инквизитор.

Инквизитор отрицает право Христа на людей, на человечество. Право Христа, как думает Инквизитор (а с ним многие, многие в

мире) только высказать слово Свое в мире. А уже толковать это слово и вести человечество не принадлежит Христу.

Право спасения человечества принадлежит кучке гордых и избранных людей, кучке в каждую эпоху появляющейся и „берущей на себя грехи мира", — не в смысле Христова искупления, через осуществление всей Божьей Правды за человечество, но в смысле антихристовом, т. е. творения зла от имени людей, „за людей", тем самым якобы их спасая от этих грехов... Ужасная диалектика! Такие глубины зла открываются в лице Инквизитора.

Удивительно, что Инквизитор улавливает в этом некое подобие Истины. Ведь Бог действительно отказался от некоторых своих прав на человека. От каких? От права осуждать людей мгновенно за грехи их, от права не-долготерпеть. Долготерпение Божие, само явление кроткого Христа, Сына Божия, Коему дана вся власть над миром, это поистине отказ Отца и Творца от всех своих прав, кроме права любить и прощать в этом мире.

Но Инквизитор это по старому хочет понимать. Он кротость Христову, кротость и божественную молчаливость Истины в мире рассматривает как свое право отвергать эту Истину и отнимать от этой Истины все человечество. Такова глубина греха всех ложных и самоуверенных вождей человечества, ввергающих, все время, послушное им стадо человеческое, в пропасть. Но не прекращается Богочеловеческий процесс Истории. Он является единственным фоном, пред которым все совершается в мире. Пшеница ссыпается в вечные обители сынов и верных друзей Божьих. Пустой плевел истории сжигается, как мертвая трава.

Инквизитор „открывает карты" духовного зла в мире. Первая „карта": ненависть ко Христу и к Его абсолюту совершенства любви, правды и чистоты. Вторая карта: утверждение, что истина эта Христова, к которой как к солнцу тянется всякая, хоть сколько нибудь человечная душа, — истина эта нереальна и нежизненна, что на нее можно лишь любоваться, но нельзя жить ею. Третья карта, что учение Христово — не настоящая любовь к людям, и что только он — дух иной мудрости — может сделать счастливым человека, ограничив его нравственные запросы и стремление, сконцентрировав его интересы на уровне „каждому доступном" и, отняв у человека свободу мыслить, желать, алкать и жаждать правды последней.

План Инквизитора есть в сущности принудительное включение чело-

века и всего человечества в круг минимальных нравственных понятий и пожеланий, где бы у человека атрофировалась всякая „печаль по Богу", томление по вечной жизни.

Человек в „церкви", в стаде Инквизитора, должен потерять всякое право на высшую человечность. И за Самим Христом отрицается право говорить что либо в мире... Его слова уже истолкованы для мира Инквизитором и в этом только истолковании дозволены, легализированы. Истина не царица своих собственных слов! Не точная ли это фотография нашей эпохи?

На внутренней диалектике Инквизитора строились и строятся все социальные миражи в мире, имеющие цель подменить высшее назначение человека в вечности — утилитаризмом маленьких земных интересов и материально-провинциальных достижений... Но устремленные лишь к земле не находят, по настоящему, и земли, пожиная на ней только тернии и волчцы.

Утилитаристы, борящиеся с Духом Божьим, фанатичны. Только их забота — настоящая забота о человечестве. Они — спасители мира и его мессии.

„Пятнадцать веков мучились мы с этой свободой, но теперь это, кончено, и кончено крепко. Ты не веришь, что кончено крепко? Ты смотришь на меня кротко и не удостаиваешь меня даже негодования? Но знай, что теперь, и именно ныне, эти люди уверены более, чем когда нибудь, что свободны вполне, а между тем сами же они принесли нам свободу свою и покорно положили ее к ногам нашим. Но это сделали мы, а того ль Ты желал, такой ли свободы?"

— „Я опять не понимаю, прервал Алеша, — он иронизирует, смеется? —

Ни мало. Он именно ставит в заслугу себе и своим, что наконец-то они поборели свободу и сделали так для того, чтобы сделать людей счастливыми. Ибо теперь (т. е. он, конечно, говорит про инквизицию) стало возможным помыслить в первый раз о счастьи людей. Человек был устроен бунтовщиком; разве бунтовщики могут быть счастливыми? Тебя предупреждали, — говорит он Ему, — Ты не имел недостатка в предупреждениях и в указаниях, но Ты не послушал предупреждений".

Все зло приписывается Творцу и творенье рисуется как... жертва Творца... Тупик боговосстания!

Тонкая клевета на мироздание! Человек был создан сыном, с даром чудной свободы человеческой, без которой нет сыновства.

Конечно, всякий сын может стать — блудным, стать бесприютным, уйти от Отца, но главное останется в нем: он сын; бунт, это отход от любви, но стихия любви Отца — это источник человека и его подлинной человечности. Желая поработить людей, как скотов, Инквизитор клевещет на природу человека и требует для этой природы лишь минималистически-нравственного и социального стойла.

Нетрудно видеть, что клевета на творение (человек—„по природе бунтовщик") приходит логически к возведению клеветы на Творца. Вина за все зло снимается с людей Инквизитором. Спаситель дает мир душе человека, приводя его к чистоте через осознание им его греха, его вины — личной и обще-человеческой перед Богом (условие примирения души с Богом); ложный пастух человечества Инквизитор высказывает то, что играет на устах и в уме у многих противящихся Богу: они не виноваты в своем зле. Человечество знает, что это ложно-успокоительная мысль, и никакого светлого удовлетворения душе не дает, однако, только чтобы не унизить своей гордыни, и не нарушить любви к самому себе, оно Бога делает виновником своего зла. Здесь уже то, что Иоанн Богослов назвал „глубинами сатанинскими". Это зенит нравственного разложения. Человек никогда до конца не отпадет от Бога, если не примет этой идеи. Всякий грех может быть прощен, кроме „хулы на Духа Святого". Инкриминирование Святейшему Святых Духу Божию всех мерзостей демонских и человеческих, есть мерзость всех мерзостей: хула на Духа Святого... Соль, против загнивания мысли человеческой в этом направлении, есть покаяние человека, осознание им своей вины; только в свете этого покаяния открывается видение неба, Божьей любви, правды совершенной и милости.

Достоевский еще до Соловьева, глубоко выявил в русской мысли тему ложного добра, как наиболее тонкой формы зла; чтобы все поняли: нет середины меж Христовой истиной и духом мирового материализма, утилитаризма, человеческого самообоготворения, столь сковывающего современного человека, столь убивающего его истинную человечность, под видом человеколюбивой заботы о нем.

„Знаешь ли Ты, что пройдут века, и человечество провозгласит устами своей премудрости и науки, что преступления нет, а стало быть нет и греха, а есть лишь только голодные. „Накорми, тогда и спрашивай с них добродетели!" — вот что напишут на знамени, которое воздвигнут против Тебя и которым разрушится храм Твой".

Но не разрушается храм, на входе в который написано: „Не о

хлебе едином жив будет человек."

„На месте Храма Твоего — говорит Инквизитор — воздвигнется новое здание, воздвигнется вновь страшная Вавилонская башня, хотя и эта не достроится, как прежняя, но все же Ты бы мог избежать этой новой башни и на тысячу лет сократить страдания людей".

Здесь опять блестит молния мысли самого Достоевского: „Хотя и эта не достроится, как и прежняя, — но все же Ты бы мог избежать"... — в этих словах открытое противоречие; ибо, ведь, он, Инквизитор, есть строитель этой страшной башни — Вавилона, этой „блудницы апокалиптической". Но он же и говорит, что эта башня не достроится, обречена на неудачу. Зло не может себя до конца скрыть. Инквизитор говорит далее, что люди „убедятся тоже, что не могут быть никогда свободными, потому что малосильны, порочны, ничтожны и бунтовщики". Вспомним тут сейчас же слова Ап. Павла: „Когда я немощен, тогда я силен"; „Сила Божия совершается в немощи"; — значит, человек, который будет иметь хоть малейшую искру христианского духа, никогда не убедится в том, что он, в слабости своей, не свободен, но, наоборот, будет знать, что в этой немощи, открывшейся его сознанию, в своем правдиво осознанном недостоинстве, он может быть сосудом Божией Истины и силы... „Ты обещал им хлеб небесный, но, повторяю опять, может ли он сравниться в глазах слабого, вечно порочного и вечно неблагодарного людского племени с земным? И если за Тобою, во имя хлеба небесного, пойдут тысячи и десятки тысяч, то что станется с миллионами и с десятками тысяч миллионов существ, которые не в силах будут пренебречь хлебом земным для небесного? Иль Тебе дороги лишь десятки тысяч великих и сильных, а остальные миллионы, многочисленных как песок морской, слабых, но любящих Тебя, должны лишь послужить материалом для великих и сильных? Нет, нам дороги слабые, они порочны и бунтовщики, но под конец они то станут и послушными, они будут дивиться на нас и будут считать нас за богов за то, что мы, став во главе их, согласились выносить свободу, которой они испугались, и над ними господствовать — так ужасно им станет под конец быть свободными"...

— „Чем виновата слабая душа — оправдывает себя Инквизитор, — что не в силах вместить столь страшных даров?" — Но по Истине Божией слабая душа именно и вмещает великие дары. Великие дары Божии тем и велики, тем неизреченно велики, что входят в слабую, нищую душу. Благодать Божия не ищет героев, титанов,

прометеев, а ищет именно слабую, себя осознавшую слабой, человеческую душу. Этого не может понять Инквизитор, ибо он целиком на земле, его психология материалистична. Он думает, что исправил подвиг Христов: „Мы в праве были проповедывать тайну и учить их, что не свободное решение сердец их важно, и не любовь, а тайна, которой они повиноваться должны слепо, даже мимо их совести. Так мы и сделали. Мы исправили подвиг Твой, и основали его на чуде, тайне и авторитете. (Инквизитор на самом деле имеет в виду не истинные реальности чуда, тайны и авторитета, а чудесничество, таинственность и внешнюю авторитетность.) И люди обрадовались, что их вновь повели, как стадо, и что с сердец их снят, наконец, столь страшный дар, принесший им столько муки. Правы мы были, уча и делая так, — скажи? Неужели мы не любили человечество, столь смиренно сознав его бессилие, с любовью облегчив его ношу и разрешив слабосильной природе его, хотя бы и грех, но с нашего позволения?"

Несомненно, здесь слышен и намек Достоевского на систему индульгенций, которая в средние века была в Римской церкви (да и сейчас еще не совсем ушла из римской церковной истории и психологии). В этой проблеме покровительства слабости человеческой совести и состоит проблема христианской педагогики в мире. Что легче человеку, когда ему „дозволяют" быть слабым, или когда его простирают, влекут все время к высшему совершенству, держа перед ним высший Свет Христов, последние заповеди Божии? „Будьте совершенны, как Отец ваш Небесный совершен есть". По духу Евангелия, легче всего бывает человеку, когда он видит этот высший Свет перед собой, следовать этому Свету до конца; ибо когда он видит перед собой эту полноту божественной святости, он сознает все свое нравственное ничтожество и уже не может быть самодовольным, но делается нищим духом, а делаясь нищим духом, он получает полноту Божией благодати, совершенствуется, влечется к Богу не своими антропоцентрическими путями, а путем благодати, великой силы Божией... Здесь вся основа христианского совершенства. И поэтому не ослаблением остроты, не „смягчением", затушевыванием заповедей евангельских можно облегчить путь и спасение человечества, но, наоборот, выявлением всей полноты света, который Богом предложен людям.. Человек же, будучи самолюбивым и гордым, когда видит этот бесконечный евангелский свет перед собой, уязвляется и чувствует, что не может своими силами стать святым, и — по гордости своей — отказывается от учения евангельского, считает его „неисполнимым" на земле и ищет иного... Но тот,

который понял истину, столь особенно ярко раскрытую бывшим гонителем Христа, апостолом Павлом, что сила Божия действует именно в слабости, в немощи человеческой, — никогда не испугается Света. Наоборот, чем Свет будет ярче, ослепительнее, тем человеку радостнее, легче будет, тем яснее он в этом свете увидит свою слабость, свое недостоинство и поймет, на опыте, что осознание своей слабости дает великую надежду и благодать спасения. „То, что имею сказать Тебе, все Тебе уже известно, я читаю это в глазах Твоих. И я ли скрою от Тебя тайну нашу?“... (Трепет зла перед взором Христа!)

„Может быть, Ты именно хочешь услышать из уст моих, слушай же: мы не с Тобой, а с ним, вот наша тайна! Мы давно уже не с Тобой, а с ним, уже восемь веков. Ровно восемь веков назад, как мы взяли от него то, что Ты с негодованием отверг, тот последний дар, который он предлагал Тебе, показав Тебе все царства земные; мы взяли от него Рим и меч Кесаря и объявили себя царями земными, царями едиными, хотя и доныне не успели еще привести наше дело к полному окончанию. Но кто виноват? О, дело это до сих пор лишь в начале, но оно началось. Долго еще ждать завершения его, и еще много выстрадает земля, но мы достигнем и будем кесарями, и тогда уже помыслим о всемирном счастии людей. А между тем, Ты бы мог еще и тогда взять меч Кесаря. Зачем Ты отверг этот последний дар? Приняв этот третий совет могучего духа, Ты восполнил бы все, чего ищет человек на земле, то есть: пред кем преклониться, кому вручить совесть и каким образом соединиться, наконец, всем в бесспорный общий и согласный муравейник, ибо потребность всемирного соединения есть третье и последнее мучение людей. Всегда человечество в целом своем стремилось устроиться непременно всемирно. Много было великих народов с великой историей, но чем выше были эти народы, тем были и несчастнее, ибо сильнее других сознавали потребность всемирности соединения людей. Великие завоеватели, Тимуры и Чингис-ханы, пролетели, как вихрь по земле, стремясь завоевать вселенную, но и те, хотя и бессознательно, выразили ту же самую потребность человечества ко всемирному и всеобщему единению. Приняв мир и порфиру Кесаря, Ты основал бы всемирное царство и дал всемирный покой. Ибо кому же владеть людьми, как не тем, которые владеют их совестью и в чьих руках хлебы их. Мы и взяли меч Кесаря, а взяв его, конечно, отвергли Тебя и пошли за ним. О, пройдут еще века бесчинства свободного ума, их науки, и антропофагии, потому что, начав возводить свою

Вавилонскую башню без нас, они кончат антропофагией. Но тогда-то и приползет к нам зверь и будет лизать ноги наши и обрызжет их кровавыми слезами из глаз своих. И мы сядем на зверя и воздвигнем чашу и на ней будет написано: „Тайна!“ Но тогда и лишь тогда настанет для людей царство покоя и счастья. О, мы убедим их, что они тогда только и станут свободными, когда откажутся от свободы своей для нас и нам покорятся. И что же, правы мы будем или солжем? Они сами убедятся, что правы, ибо вспомнят, до каких ужасов рабства и смятения доводила их свобода Твоя. Свобода, свободный ум и наука заведут их в такие дебри и поставят перед такими чудесами и неразрешимыми тайнами, что одни из них, непокорные и свирепые, истребят себя самих, другие, непокорные, но малосильные, истребят друг друга, а третьи, оставшиеся, слабосильные и несчастные, приползут к ногам нашим и возопиют к нам: „да, вы были правы, вы одни владели тайной Его, и мы возвращаемся к вам, спасите нас от себя самих“. Получая от нас хлебы, конечно, они ясно будут видеть, что мы их же хлебы, их же руками добытые, берем у них, чтобы им же раздать, безо всякого чуда, увидят, что не обратили мы камней в хлебы, но, воистину более, чем самому хлебу, рады они будут тому, что получают его из рук наших! То, что говорю Тебе, сбудется, и царство наше созиждется. Повторяю Тебе: завтра же Ты увидишь это послушное стадо, которое по первому мановению моему бросится подгребать горячие угли к костру Твоему, на котором сожгу Тебя.“

Непокорное Богу и Им посланному в мир Христу, человечество, либо истребляет себя в различных самоубийствах, в войнах, дерзких желаниях покорить себе все и возгосподствовать, силой своей, над всем, либо — ползает в прахе у ног материально сильных, дерзких и гордых своих представителей, восклицая апокалиптически: „Кто подобен Зверю сему и кто может сразиться с ним?! И-называет своим „спасителем“ того или другого — проходящего как тень по земле человека...

Удивительно и пророчески-современно это прозрение. С большой, для литературного слова, силой и замечательным совершенством Достоевский показал миру ложь всех его мировых, счастье всего человечества преследующих, но не на правде и не на духе Христовом основанных объединений, в каждую эпоху все по новому (а в сущности — все по старому) пленяющих человечество и отводящих его от Христа.

Но, чтобы понять не-подлинность, не экзистенциальность этих

объединений человечества, нужно обладать верным религиозным восприятием всей жизни. Только поняв высокую цель человеческого существования и увидев безконечно великий смысл человечества в светлом человеке во Христе, можно заметить всю ложь, все кружево тонкой лжи мирового зла.

„Россию спасет Инок“ — сказал Федор Михайлович. Что это значит? Россию и все человечество может спасти лишь прямой, религиозный свято-правдивый взгляд на себя, на мир, на смысл и цель всей человеческой жизни, которая — во Христе.

Пройдя через бури и миражи мира к истине подлинного богообщения, Достоевский замечает всю ложь противодействия Христу в человеке и человечестве. Он зовет нас — и все человечество — прямо взгянуть на эту ложь и пронизать ее тем острым и чистым взглядом, который, как это чувствовал Инквизитор, лежал на нем, когда он говорил перед Христом.

АРХИМАНДРИТ ІОАНН

1946 г. Лос Анжелос Калифорния *(Шаховской)*



ИВ. БУНИН

Допустим, что Нобелевская премия присуждена была Бунину самой историей и, допустив это, спросим себя: чем оправдан выбор Бунина, что хотела история сказать нам этим своим решением.

Говорю сразу, дело не в том, что Бунин самый большой талант среди русских писателей. Никакого аппарата для измерения степени талантливости еще не изобретено и, конечно, никогда изобретено и не будет. У всех нас есть в душе некая, унаследованная и личным опытом проверенная, скала оценок; мы чувствуем первоклассное, второсортное, третьестепенное, но законом объективного размещения людей и талантов по этим рубрикам не владеем. Конечно, Бунин принадлежит к немногим, безусловно и безоговорочно первоклассным художникам, живущим и творящим среди нас. Но все же он не единственный. Почему же жребий пал (говорю в плане объективного духа) на него, а не на кого-либо другого. В чем провиденциальность этого избрания.

Еслибы мне сказали, что среди современных русских писателей есть люди, превосходящие в том или ином направлении Бунина, я бы не стал спорить. Я согласился бы, что есть умы более широкого охвата, есть искусники упорнее Бунина, ищущие новых и своеобразных путей художественного творчества, есть поэты большей пророческой силы и есть, наконец, кисти более яркие и размашистые. Не согласился бы я лишь с одним, — с тем, что у нас есть таланты равные Бунину по своей внутренней подлинности и по совершенству своих проявлений. В этом смысле Бунин мне, действительно, представляется почти что единственным и в этой своей единственности всем нам, в особенности же поднимающемуся в Европе русскому писательскому молодняку, особенно нужным и ценным мастером.

В современной, в особенности в современной европейской куль-

туре всего много: мыслей, теорий, чувств, страстей, опыта, планов, знаний, умений и т. д., и т. д. Но всем этим своим непомерным богатством современный человек в современной культуре все же не устроен. Скорее наоборот — всем этим он расстроен, замучен, сбит с толку и подведен к пропасти. Исход из лжи и муки этого, разлагающего жизнь, богатства, в котором мысль не отличима от выдумок, воля от желаний, искусство от развлечений, рок от случайностей и нужное от ненужностей, только в обретении дара различения духов, т. е. в возврате к той подлинности и той первичности мыслей и чувств, которыми держится и которым служит искусство Бунина.

На обращаемые ко мне вопросы иностранцев: в чем особая заслуга Бунина перед мировым искусством, оправдано ли то внимание, которое ему уделяют, подлинно ли он талантлив и оригинален, я упорно отвечаю, что талант и оригинальность его, конечно, весьма значительны, но что не это самое главное в нем, а та подлинность, или, еще лучше, первозданность его таланта, которой в мире становится все меньше, хотя сознание, что без нея ни жить, ни творить дальше нельзя, всюду растет. Вот тот смысл, в котором выделение Бунина мне представляется не случайным, а симптоматически-существенным.

Всем нам кажется, что мы очень хорошо знаем, что такое подлинность и что мы подлинное всегда отличим от неподлинного. Такое представление, конечно, — величайший самообман. Если-бы мы опытно знали и логически точно осознали грань, отделяющую подлинное от неподлинного, мы бы не ошибались постоянно так страшно и в себе, и в других, как ошибаемся. Раскрыть сущность подлинности — значит раскрыть тайну Бунинского творчества. Сделать это не так легко, как это на первый взгляд кажется. На вопрос о сущности, подлинности, большинство людей ответит, что подлинность это — верность себе. Такой ответ правилен, но недостаточен.

Без верности себе подлинность, конечно, немыслима, но немыслима, она и без отказа от своего я в случае его столкновения с истиной. Тайна подлинности очень близка тайне личности, т. е. тайне органического единства между человеческой особью и абсолютной истиной. Подлинен тот человек и, прежде всего, только тот художник, для которого истина не отвлеченно стоящая над ним идея, а кровь и плоть его духовно-душевно-телесного существа. В неподлинность и произвол потому легко соскальзывают или люди,

утверждающие свое я вне связи с истиной, или люди, утверждающие его на чужой истине. Для проблемы духовной жизни и, прежде всего, для проблемы художественного творчества, второй случай важнее первого. Типичный для современной Европы, а, отчасти (пусть в меньшей степени) и для России, как советской, так и эмигрантской, процесс вытеснения первичного искусства умелым писательством, связан прежде всего с тою легкостью, с которой современный образованный человек сливает свое творческое я с любою, а потому и чужою истиной, с чужой формой, с чужой идеологией, с чужим социальным заказом. Все, что мы ощущаом и называем литературной модой, веянием, направленством, тенденцией, манерой все это, в большинстве случаев, творчество на чужой счет, раздувание своего я мехами чужих, не личным опытом найденных, не своею жизнью взращенных и оплаченных истин. Все это, говоря банковским языком, сплошная инфляция, т. е. нечто прямо противоположное подлинности.

Неподлинность, инфляционность творчества может быть элементарно-грубой, исходящей из социального заказа власть имущих, но она может быть и гораздо более утонченной. Она может исходить из безсознательного желания придать своему творчетву, на путях его полунасильственного сближения с духом времени, вес и значительнотъ, остроту и занимательность.

На этих путях, при наличии большего таланта, ума, вкуса и образованности возможны очень большие и ценные достижония (Бернард Шоу, Ромэн-Роллан, Андрэ Жид), но не возможно не только большое, но даже, и самое малое подлинное искусство.

Установить справедливое отношение к России кануна революции людям моего поколения не легко. С уверенностью можно сказать лишь то, что время между революцией 1905 г. и войною 1914 г. войдет в историю с одной стороны порою подлинного расцвета и углубления русской культуры, а с другой порою явно неправедного, исполненного ядовитых соблазнов, утончения русской интеллигентской духовности. Молодому писателю было в ту пору не легко внутренне справиться с богатством наступивших на него идей; еще труднее — отстоять себя от внешнего подчинения им. Слева наступала на него политика: Маркс, пролетарий, община, Пресня, Дума; справа эстетика: Ничше, Соловьев, соборность, Бодлэр, Малармэ, Ибсен, орхестра... Этого столпотворения идей и теорий, проповедей и провозглашений не выдерживал почти никто. Годы, в которые

креп и развивался талант Бунина были поэтому годами более или менее опасных срывов почти всех значительных русских писателей. Годы, в которые Леонид Андреев инстинктом наталкивавшийся на те проклятые вопросы, что ему так и не удалось увидать при свете разума, безоглядно губил ложными надуманностями свой настоящий талант, в которые, Максим Горький, марксистскою схемою и ничшеанским афоризмом, подстругивал волжского босяка под европейского пролетария, в которые Арцыбашев, как бы в предчувствии физкультуры, превозносил блуд и Апполона, — Михаил Кузьмин писал свои, стилистически замечательно сделанные, повести, светложурчащие, как струи Версальских фонтанов, и все же отравленные тонким ядом какой-то камерной хлыстовщины, в которые такой подлинный и высоко даровитый поэт, как Сологуб, после замечательного „Мелкого беса" писал ненужные „Навьи чары"; Андрей Белый чертил мистическую геометрию своей „Эмблематики смысла;" умнейший и ученейший Вячеслав Иванов, творец не только глубокомысленной, но и верной теории религиозного символизма, проповедывал, на поводу у Георгия Чулкова, сумбурную теорию мистического анархизма и даже единственный Александр Блок сливал, в непонятной абберации внутреннего зрения, образ Прекрасной дамы с образом Незнакомки.

Не мне, еще школьником столько читавшему Мережковского, участнику Мусагета, сотруднику Трудов и дней, члену религиозно-философского общества и редактору Логоса, близко знавшему большинство символистов и никогда не бывавшему на реалистических Средах, отмежеваться от мистиков и декадентов начала столетия. Я этим миром был, в свое время, страстно захвачен и от многого из того, что он мне дал, и поныне не отказываюсь. Но эта моя добрая память о прошлом не мешает мне видеть, сколько в нем было неподлинного и какое количество мало самостоятельных людей и талантов было им искажено и извращено. Та свобода и самостоятельность, с которыми Бунин прошел и мимо всех эстетических нарочитостей декаденства и мимо всех политических утробностей общественности, представляются мне потому поистине замечательными. Этой царственной свободе, укорененной в твердом, инстинктивном знании того, что ему т. е. его таланту, потребно и что непотребно, он прежде всего и обязан всем тем, чего он достиг. А достиг он, в известном смысле абсолютного, ибо он достиг, по своему, непреложного. У него, как у всякого писателя, есть вещи сильные и слабые, в нем свыше зачатые и им самим задуманные, но у

него нет ни одиой внутренне лживой или пустой страницы. Все, что Буниным написано, — серьезно, точно, предметно. Все, что Бунин описывает, он знает так же хорошо, как свою комнату, как свое лицо в зеркале. Как ни вслушивайся в Бунина, в его повествованиях никогда не услышишь полого звука. Даже в самых сжатых его миниатюрах есть благородная тяжесть; все они на вес так же солидны, как на глаз. В этом чувствуется высокая проба какой-то человеческой честности. С этою честностью связано и целомудрие Бунина: боязнь красивости, риторики, умствования. Его безконечно музыкальное и искусное писательство ни в какой мере и степени не орнаментальная проза. В его образах и мыслях никогда не слышно фальцета, того горлового звука, которым безголосые тенора берут верхи. У Бунина все верхи грудные; все мысли изжитые, своею жизнью проверенные, своею кровью оплаченные. У него, как у смерти в одном из его рассказов, все свое, особое. Один из самых подлинных и, в Шиллеровском смысле этого слова, наивных художников, никогда не говорящий о вещах, но заставляющий вещи говорить с нами, Бунин, естественным образом, не разглядывает в своих произведениях мировых задач, не развертывает в них психологических бездн, не решает социальных вопросов. Упрекать его художественную подлинность в некоторой теоретической бедности при желании поэтому можно, но не видеть громадного ума Бунина зрячему человеку нельзя. Не надо забывать, что греческое слово теория означает не мышление, а созерцание. Талант Бунина это помнит. Бунин думает глазами и лучшие страницы его наиболее глубоких вещей являются живым доказательством того, что созерцание мира умными глазами стоит любой миросозерцательной глубины. У Бунина же зрение предельно обострено; ему отпущены не только орлиные глаза для дня, но и совиные для ночи. Поистине он все видит. И все-же, ни его талант, ни его умные глаза, не создали бы Арсеньева, если бы у Бунина, кроме таланта, не было бы еще какого-то, совсем не моралистического, чувства ответственности за свой талант, чувства бережения его. Бунин не написал ни одной вещи, в которой чувствовалось бы, что он поставил своему таланту, непосильную для него задачу, чтобы он занес над ним по каким либо посторонним побуждениям кнут насилующей воли или искажающей идеи. В отличие от очень многих из своих собратьев по перу Бунин, всю жизнь служа своему таланту, никогда не заставлял свой талант служить себе, не пытался при его помощи выйти в люди. Он, думается, всегда знал цену

себе и своему дарованию, но он никогда, даже и подсознательно, не выставлял своей кандидатуры на роль духовного вождя, властителя дум, общественной совести или даже просто любимца публики. За всем этим Бунин никогда не гнался, вероятно потому, что инстинктивно чувствовал, что и так идет впереди. В его творческом облике всегда гармонически сочетались вера в свой творческий путь с полным отсутствием мелкой самоуверенности. Лишь этою верою в правду своего пути об'яснимы многие из известных Бунинских оценок инопородных ему явлений (Достоевского, Блока и т. д.). Один из самых зорких людей среди всех, с кем мне довелось повстречаться на своем жизненном пути, Бунин способен на столь несправедливые высказывания, как мало кто. За эту несправедливость его часто бессмысленно зло корят, но часто и слишком благожелательно оправдывают, ссылаясь на то, что священный огонь исключительного дарования не электричество, приспособленное к равномерно-трезвому освещению любых явлений жизни. Не думаю, чтобы это сравнение было очень убедительным, но оставим его в стороне, как и всю проблемму вины. Спросим себя лучше, в чем собственно дело; почему зоркий Бунин становится иногда слепым. Думаю, что вопрос сложнее, чем кажется, и что в гневных вспышках Бунина, наряду с очевидной слепостью, есть и своя прозорливость. Когда Бунин видит, как аполлиническое Пушкинское упоение в бою и бездны мрачной на краю превращается под влиянием Достоевского в обывательскую толчею у мистической бездны, он кричит на Достоевского, что тот сует Христа в свои бульварные романы. Когда он слышит, как трагический срыв Блока: скитание Прекрасной Дамы до Незнакомки становится модою дня и как по салонам и кабакам начинается какая-то мистика под гитару, он обрушивается на Блока и доказывает, что это изолгавшийся Аполлон Григорьев и только. Что говорить — по отношению к Достоевскому и Блоку все его обвинения несправедливы и неверны, — думается, Бунин это и сам лучше всех нас подчас знает, — но по отношению к той угрозе духовной трезвости и подлинности, что таят в себе не Достоевский и Блок, а блоко-достоевщина, страстные Бунинские запальчивости, от которых не спрячешься и мимо которых не пройдешь, не только верны, но и справедливы. Во всяком случае они не беспредметны. Нельзя не видеть, что когда Бунин, повидимому совершенно безсмысленно, спичку называет чертом, он правильно чует, что в аду пахнет серой. В этом смысле его будто-бы слепые злостности, все зоркие предостережения.

Созерцание мира умными глазами стоит любой миросозерцательной глубины. В чем же ум Бунинских глаз и в чем глубина его миросозерцания? Ответить на эти вопросы не легко, так как искусство Бунина лишено, как было уже сказано выше, всякой проблематики. Известное замечание, что среди писателей больше всего описателей, кажется как нельзя более применимым к Бунину. И, действительно, все его вещи прежде всего описания: мира, людей, событий; медленные, подробные, тщательные, безконечно совершенные, но на первый взгляд как будто бы внешние. Этою внешностью Бунина, в особенности в прежние годы, часто корили; за нее упрекали его в холодности, в жесткой справедливости. Ходячая характеристика эта всегда связывалась с расточением похвал по адресу замечательного языка, которым пишет Бунин. Помню, как Иван Алексеевич однажды шутил по этому поводу: какой такой особый у меня язык; пишу русским языком, язык, конечно, замечательный, но я то тут причем. Эта шутка больше чем шутка: в ней слышится упрек тем, что считают его, Бунина, (мнение это было, к слову сказать, только что повторено в руководящем литературно-критическом органе Германии), блистательным, но, в сущности, лишь формальным дарованием, в совершенстве отражающем мир, но не имеющим ничего сказать миру в целях его совершенствования.

Такое представление о Бунине, конечно, глубоко неверно. Верно лишь то, что он не учит мир совершенству, а усовершенствует его своим искусством, не наставляет его на путь истинный, а воистину преображает его. Причем преображение это совершается Буниным, как настоящим художником совсем незаметно, легким положением рук на вещи, без всякого насильнического вмешательства в мир, без самовольного разгрома его форм, без самовольного переоформления. Во всех писаниях Бунина перед нами мир до конца всем знакомый и все же неузнаваемый; совершенно внешний и все-же безконечно глубокий. Бунин любит и ценит чуть ли не выше всех Гете Слова первого отдела Гетевских „Максим и рефлексий" являются лучшим определением Бунинского творчества: Художник всегда изобразитель. Высшая форма изображения та, что способна на успешное соревнование с действительностью, т. е. на такое одухотворение вещей, которое делает их для всех нас абсолютно живыми. На своих высших вершинах искусство всегда *кажется* совершенно внешним. Чем больше оно погружается во внутрь, тем оно ближе к падению. Изумительные и изумительно верные слова. А потому не будем снижать как будто-бы совершенно внешнего

искусства Бунина глубокомысленными размышлениями над его миросозерцанием. Все, что может сделать критик — это указать на главные мотивы душевного раздумья художника над сущностью мира и жизни. Раздумье Бунина, — в стихах это, пожалуй, виднее, чем в рассказах и повестях, — завороженно вращается все в том же скорбновосторженном кругу, к которому уже не раз приходили искренние и глубокие умы и сердца.

Страстная жажда жизни:

Снова накануне. И с годами
Сердце не считается. Иду
Молодыми, легкими шагами
И опять, опять чего-то жду —

Затем срыв, скорбь, смерть:

Познал я...
Ненужную для мира боль и муку
И эти одинокие часы
Безмолвного, полуночного бденья,
Презрения к земле и отчужденья
От всей земной бессмысленной красы.

И тут-же упоение красотою скорби, вострог о бессмертии смерти, а тем самым уже и обретение смысла в бессмысленном.

Зачем пленяет старая могила
Блаженными мечтами о былом.
Зачем зеленым клонится челом
Та ива, что могилу осенила.
Так горестно, так нежно и светло
Как будто все, что было и прошло,
Уже познало радость воскресенья
И в лоне всепрощенья и забвенья
Небесными цветами поросло.

Я не случайно назвал круг Бунинского мироощущения трагичным. Он трагичен потому, что Бог Бунина, под взором которого вращается мир, — немой, не отвечающий на наши вопросы Бог.

Весь мир молчит — затем,
Что в мире Бог, а Бог от века нем.

Этот немой Бог Бунинской мистики отличается от Бога-Слова христианской догматики тем, что в нем бессмысленность мира в сущности не преодолевается, но лишь обретает ту предельную глубину, которую Бунин ощущает то древним ужасом, то вечной кра-

сотою. Нерасторжимое единство ужасности и прекрасности мира Бунин острее всего чувствует в смерти. Казалось-бы, что после Толстого ничего нового о смерти сказать нельзя. Однако Бунин нашел слова и образы, не сказанные и не найденные в Толстом. С одной стороны смерть ощущается и изображается Буниным еще физиологичнее, еще тлетворнее, чем Толстым, но с другой — в его словах о ней (см. „К роду отцов своих") слышится такая таинственность, мистичность и даже, отраженная от церковного обряда, литургичность, которых нет у Толстого. У Толстого смерть, несмотря на „Три смерти", прежде всего процесс, происходящий в душе человека; у Бунина она космическое событие, свершающееся в недрах Бытия. Касаясь темы смерти, Толстой всегда превращается в психолога и мыслителя; в Бунине та же тема пробуждает поэта. Как ни страшна в изображении Бунина смерть, она все же является душою и музыкой его искусства. Об этом хочется сказать несколько более подробных и более точных слов.

Есть, в сущности, две смерти. Смерть, как подкрадывающийся извне, конец нашей жизни — „Мы все сойдем под вечны своды и чей нибудь уж близок час" — и смерть, как неустанно происходящее в нас умирание нашего прошлого и настоящего. По отношению к этой, второй, смерти мы сами те вечные своды, под которыми годы-могильщики хоронят и то, что началось и быть могло, но стать не возмогло, и то, что, ставши, отошло и умерло.

Над первою смертью мы не вольны. Вне благодатной веры она сплошной ужас и трепетанье твари. Над второю смертью у нас есть власть. Имя этой власти — искусство. Магический жест этого искусства — память. Конечно, не та вечная память, о сотворении которой молится церковь на отпевании умершего, но все же таинственно связанная с нею. В сущности, каждый подлинный художник творец вечной памяти и заклинатель смерти; а великое подлинное искусство праобраз и предвосхищение в земных условиях последней мистерии, обещанной нам, мистерии воскресения наших, неустанно во времени умирающих дней к вечной жизни в преображенной плоти.

Оба облика и оба переживания смерти всегда тесно связаны между собою. Формы этой связи у разных людей различны, но для всех нас одинаково определительны и показательны.

Для творчества Бунина характерно сочетание какого-то предельного, кальвинистически-мрачного отчаянья и трепетания твари перед крышкою гроба с редкою силою творческого преображения

земных обликов и свершений нашей бренной жизни. Сочетание это неслучайно. Бунин сам прекрасно и глубоко вскрывает его религиозный смысл, объясняя свое стремление к словесному ремеслу страхом перед гробом беспамятства.

Тема памяти одна из самых глубоких тем мистической и религиозной литературы. Ее, столь важная для проникновения в сущность искусства, постановка невозможна без строгого разграничения памяти и воспоминаний. В своем прекрасном прологе к поэме „Деревья" Вячеслав Иванов строго делит и даже противополагает друг другу оба начала:

Ты, память, муз родившая, свята —
Бессмертия залог, венец созданья,
Нетленного в истлевшем красота
Тебя зову — не воспоминанья.

Сущность памяти, как то прекрасно выражает подчеркнутая третья строка Ивановской строфы, в спасении образов жизни от власти времени. Несбереженное памятью прошлое проходит во времени, — сбереженное — обретает вечную жизнь. В отличие от воспоминаний, всегда стремящихся вернуть невозвратимое, память никогда не спорит со временем, потому что она над ним властвует. Для нее в ее последней глубине не важно умирает-ли нечто во времени или нет, потому что в ней все восстает из мертвых. Возвышаясь над временем, она естественно возвышается и над всеми измерениями его, над прошлым, настоящим и будущим, почему в ней легко совмещаются во времени несовместимые явления. Память эта — тишина и мир.

Связь памяти и вечности Бунин глубоко постиг и прекрасно выразил еще в 1916 году.

Поэзия не в том, совсем не в том, что свет
Поэзией зовет. Она в моем наследстве.
Чем я богаче им, тем больше я поэт.
Я говорю себе, почуяв темный след
Того, что пращур мой воспринял в древнем детстве:
— Нет в мире разных душ и времени в нем нет.

После окаянных дней революции творчество Бунина не сразу пришло в память. Но начиная с „Несрочной Весны", свет ее все сильнее и одухотвореннее озаряет писания Бунина. Тема Баратынского, тема призрачных, но бессмертных летийских теней, торжествующих над тяжестью утрат и горестей, тема неземной обители, в которой

утверждаются или, быть может, точнее возрождаются к вечной жизни умершие на земле образы, становится главною темою Бунинского творчества.

Зарубежная литература очень богата произведениями, посвященными отошедшей России. И это вполне понятно: тоска о прошлом— нерв нашей эмигрантской жизни. Но в отличие от Бунина большинство наших писателей зовет не память, а воспоминанья, всегда свои, всегда очень личные, каждому милые, но болезненные и больные. Отсюда нервность, сентиментальность, развинченность и взвинченность многих эмигрантских произведений; их белоствольные березки, кустарные петушки и росяные слезы.

У Бунина всего этого нет. Строй его последних созданий высок, прозаичен и спокоен. Многие страницы по своему настроению напоминают Пушкинскую осень.

Есть люди, — и их немало, — которым этот строй не под силу, которых Бунинское изображение до-революционной России, в котором ничто не рыдает и не надрывается, оставляет холодными и неудовлетворенными, которым более близки другие писатели, которые не служат, подобно Бунину, строгой панихиды по дорогой их сердцу России, а просто по человечеству воют и убиваются по ней. Предпочтение это вполне понятно: проникновение в Бунина требует духовности и обостренного художественного зрения, а не только искренней душевности и повышенной нервности, которых в мире гораздо больше чем духа и дара.

Бунин не сразу поднялся на высоту своих последних вещей. Своим путем художника, путем прояснения материи (Адамович) он шел медленно и осмотрительно. Раньше всего ему открылся сокровенный лик природы. О Бунинском изображении природы я уже писал в статье о Митиной любви. Потому скажу лишь кратко, что природа Бунина при всей реалистической точности его письма все же совершенно иная, чем у двух величайших наших реалистов — у Толстого и Тургенева. Природа Бунина зыблемее, музыкальнее, психичнее и, быть может, даже мистичнее природы Толстого и Тургенева. Разница эта объясняется не столько тем, что Бунин — поэт, сколько иным, чем у Толстого и Тургенева, отношением между природой и человеком. Тургенев и Толстой прежде всего заняты людьми, их душами и судьбами. У Бунина же, в сущности, нет ни одной вещи, в которой человеку было-бы указано совершенно особое место

в мире, в котором он был бы показан как существо принципиально несоизмеримое со всеми другими существами. Всякий метафизический антропологизм, в котором сила Достоевского, глубоко чужд Бунину. Человек в творчестве Бунина, конечно, присутствует; меткость и сила его портретного мастерства изумительна, но человек присутствует в художественном мире Бунина, как бы в растворенном виде; не как сверхприродная вершина, а как природная глубина. И оттого, что в Бунинской природе растворен человек, — она так утонченно человечна.

В Митиной любви Бунин впервые выдвинул человека, как имя собственное. Но этим, новым для себя путем, в дальнейшем не пошел. В последних вещах на первом плане снова природа, история, память, люди, но не отдельные лица и их индивидуальные судьбы.

Странствия — один за другим возникают лики России — монастыри: Данилов — в Москве, Макарьевский — на Волге, монастырь Саввы с собором XIV века, Троицкая Лавра; старинные поместья: — Измайловское, вотчина Алексея Михайловича, Троицкое Румянцева, Астафьево, где в кабинете Карамзина под стеклом лежат вещи Пушкина и другие, нестоль знаменитые, но столь же дорогие памятливому сердцу места. Так возникает в странствиях незапятнанная, нерушимая Русь и над нею вопрос, — а что если разрушится нерушимое и забудется незапамятное.

Арсеньев — это, конечно, не роман в традиционном смысле этого слова (он ведь так и не назван автором), а нечто совершенно особое. Что, — сказать трудно. Отчасти философская поэма, а отчасти симфоническая картина. Но названия, в конце концов, безразличны. Сила и сущность Арсеньева в том, что в нем встретились и воедино слились две темы: метафизически - психологическая тема высветления Бунинских воспоминаний в вечную память и исторически-бытовая тема гибели царской России. Только такая встреча, вошедшего в полноту своих сил художника с роковою для него темою, могла породить такую вещь как Арсеньев.

Действующие лица Арсеньева не отдельные люди. Ни сам Арсеньев, ни его близкие не знают первого плана. На первом плане стоят вещи и дела человеческие, которым посвящены недоумения и раздумья Арсеньева-Бунина. Картины этой философской поэмы развертываются в нескольких планах в природном, социальном, историческом и метафизическом. Очень сильно чувствуется природный круговорот: — весна, лето, осень, зима; очень сильно прочерчи-

вается географический крест: — север, юг, восток и запад; очень живы в быту и психологии отдельные сословия — дворяне, купцы крестьяне, мещане; также отдельные народности и полосы России, ее города и дали. Крепко остаются в памяти (начало Истока), как бы из космического тумана возникшие первоосновы жизни — базар, тюрьма, собор. За этими, как бы вечными, столпами всякого человеческого бытия выступают менее существенные, но не менее характерные для России детали: перила и колонки провинциальных дворянских гостиниц, красные ковры под начальственными ногами у всенощной; двуносые мещанские рукомойники, табачные дымки в канцеляриях, присутствиях и провинциальных редакциях, поезда и вокзалы, тарантасы, большаки и т. д. и т. д. Всего этого очень много, конечно, и во всех других романах. Но в Арсеньеве все это существует по иному и по особому. Очевидно потому, что города и веси, вещи и обличья, изображаемые Буниным в Арсеньеве, отнюдь не случайиости, попадающиеся на глаза его герою, но предметно и формально необходимые факторы всего повествования. При всей странности и интуитивности Бунинского письма в Арсеньеве есть нечто почти что исследовательское, есть какой то свой, Бунинским глазом за всю его жизнь собранный и на страницах Арсеньева прекрасно размещенный, краеведческий и этнографический музей, в котором каждая вещь поставлена и повернута так, что, раз увидав, ее никогда не забудешь. Этот элемент художественного познания представляется мне, особенно важным и ценным в Бунинском изобразительстве. Без него Арсеньев не мог бы превратиться в ту симфоническую картину России, которую он собою представляет.

Осуществление этой картины оказалось Бунину под силу исключительно благодаря тому мастерству, с которым он владеет главным даром художника: умением выбора между необходимым и, пусть столь же прекрасным, но излишним. Гетевское слово о самоограничении, как о высшем мастерстве художника, ни к кому из русских писателей не применимо с такою безоговорочностью, как к Бунину. О Смоленске и Витебске — одна страница; но на ней, благодаря выбору образов, запад России дан с исчерпывающею полнотой. Мерзлый кабак, местечковые евреи, желтый костел и железный рыцарь на нем. Так же дана и весенняя Москва: вначале как бы случайно слово о восточном излишестве торговли, а в заключение подробное описание картины в трактире Егорова, изображающей китайцев, пьющих чай. Как будто-бы пустяк, а между тем Москва

этим пустяком сразу зрительно сдвинута на восток. Этим приемом замены сложных и длинных описаний точнейшим изображением нескольких символически репрезентативных предметов Бунин пользуется очень часто и с большим мастерством. Совершенно изумителен конец XV-й главы второй части. Страсть так часто описывали, что, приближаясь к ее описанию, невольно начинаешь бояться за автора. Бунин сразу успокаивает. Вместо страсти он описывает ветер и грача, но, читая его описание, чувствуешь перебой в сердце. В нашем городе бушевал пьяный азовский ветер, — так начинается страница, а затем просто: „я запер дверь на ключ, ледяными руками опустил на окнах шторы, — ветер качал за ними черно-весеннее дерево, на котором кричал и мотался грач"... Замечательно. Короче и точнее о налетности и космичности страсти, о ее мотающей душу силе сказать ничего нельзя.

В заключение одно слово к читателю. Признаемся, что мы все развращены ловкостью, остроcловием, занятностью и интересностью современного писательства; что мы читаем невнимательно, неряшливо и приблизително, не погружаясь в отдельные слова, а лишь скользя по ним, т. е. читаем вовсе не то, что написано, а нечто лишь отдаленно на написанное похожее. Незначительные писатели, больше литераторы, чем художники, такое чтение переносят. Так как они сами творят сполрук, то их можно сполрук и читать. Бунин такого чтения не переносит. При приблизительном чтении от него почти ничего не остается; это видно по переводам его вещей. Он почти непереводим. Потому добрый совет всем тем, которые сейчас снова, а, быть может, и впервые, возьмутся за книги Бунина, читать медленно и погружено, всматриваясь в каждый образ и вслушиваясь в каждый ритм, памятуя о знаменитых словах Шопенгауэра: „искусство суровый властитель: подчас надо долго ждать, пока оно соизволит заговорить с тобою".

ФЕДОР СТЕПУН

МЫСЛЬ О САМОУБИЙСТВЕ

(ПОВАЛЕННЫЙ КРЕСТ)

Кто только начинает жизнь, так же легко встречает эту мысль, как и тот, кто кончает жить.

Каждый подвал, каждый тупик жизненного лабиринта имеет быстро открывающуюся выходную дверь: — мысль о самоубийстве. —

В разных положениях, по разным поводам, причинам и соображениям, как вода, стремящаяся к узкому горлышку воронки, мысль человека, сдавленная страданием, устремляется к самоуничтожению... Страдание же есть тайна, понятная лишь немногим, хотя и открытая всем. «Перечеркни свою жизнь...» «Просвета нет...» «Все кончено...» «Бессмысленно все...» шепчут спазмы души, и какая то подхватывающая и притягивающая (словно обнадеживающая!) сила влечет к уходу от страданий бессмыслия. «Покоя... Освобождения...» В моей власти это». И то? — страшный вопрос. Что это в моей власти? Нажать гашетку? и здесь открывается вера самоубивающейся души: темная, блуждающая, тупая, иногда страшливая, переплетенная с зарницами святых сомнений, — вера в то, что «ничего нет», или есть «покой», или (самое беспомощное) «Бог простит».

Взрыв низкой гордости, преступного товарищеского подстрекания оскорбленного самолюбия (оскорбленного по Промыслу, для усмирения и спасения), утрата кумира — идеала жизни: денег, наслаждений, чувственной или идеальной любви, друга, ребенка, женщины (озарявшей жизнь вместо Бога), прекращение праздной жизни, телесного здоровья, славы перед людьми, или надежды на эту славу... Все кумиротворчество, на которое только способна душа, отошедшая от Духа Утешителя или не пришедшая к нему, — влечет человека к самоистреблению, по непреложному закону вечной Божьей правды, распростертой над человеческой свободой.

Великое томление испытываемого духа. Выдержит — пригоден

для настоящей вечной жизни. Не выдержит — Крест повален, и им перечеркнуто существование человека для жизни Жизни, — открыто для жизни смерти. Это тоже «жизнь», только иная, чем жизнь Жизни.

Бедные страдальцы самоубийцы. Как ответственны за вашу гибель ваши близкие, ваши отцы, ваши друзья, ваши пастыри, — те, кто вас воспитывал, те, кто с вами грешил, кто не поддержал вас, кто не молился за вас, когда вы были у возможности вечной жизни Жизни. Вы повалили Крест, вы свергли страждущего за вас Христа на землю. Вы убили, вы отравили, вы бросили под поезд Самого Бога: вечно живущую в вас Жизнь — неизреченной любви к вам. Вы не приняли искупления, кратких земных очищающих страданий-сладких для принявшего, — о, гораздо более сладких, чем те призрачные наслаждения, в тоске по которым вы умерли. Да, в вашей власти было сделать это, как подсказала вам сила зла, не имевшая над вами тогда никакой власти, но в вашей же власти было не делать этого. В вашей власти было знать, что есть Бог, что он есть не только высшее Выражение Правды и Справедливости, недоступных вашему пониманию, но даже гораздо более всех этих слабых человеческих понятий.

В вашей власти было понять, что не может Бог дать Крест, и не дать сил, — в вашей власти было обратиться к Богу, спастись призыванием (не ложным) Его Имени.

Если бы могли ответить, ответили бы некоторые из вас: — Мы обращались к Богу и Бог нам не помог... Но, братья, поймите — пусть идущие к тому же злу, к которому вы пришли, поймут, что не всякое призывание Бога есть обращение к своему Создателю. Призвать так, как вы призвали, это не значит обратиться к своему Небесному Отцу. — Если ты Сын Божий, сойди со Креста, — иными словами, но так говорили вы. Это призывание Бога людьми, проходящими мимо Креста. Это — не молитва. Призвать, обратиться к Богу, значит — прежде всего — покориться Его воле, и уже покорившись Богу, — молиться Ему. Ропотливое, боязливое за себя, пристрастное к своему низшему кругу жизни, бьющееся в своем мирке, разве может наше сердце соединиться с Пламенем Триединого Божества. Это — невозможно, и потому не считайте, что вы призывали Бога, когда вы беспокойно обращались к Нему, как к виновнику ваших страданий, или как равнодушному зрителю.

Те, кто призывал Бога, Творца, покорившись Ему — те

остались живы и их жизнь есть открытое свидетельство против тех, кто не покорились. На последнем Суде никто не сошлется на «обстоятельства» или «обстановку», или на «невыносимое состояние духа», как на «причины своего самоистребления». Тут же будут стоять легионы людей святых, Божиих, бывших в более тяжких обстоятельствах, в более невыносимой обстановке, и в более нестерпимом состоянии духа. Они были во всем этом и покорились Богу, не приняли помысла клеветнического на Создателя любви. И это было как раз то, что сделало их теперь — по праву — сияющими и свободными. Сияние это было предложено и вам... Чем тяжелее испытание, тем больше, значит, Божие доверие к человеку (исповедники, мученики), тем больше должно быть ожидание доверия человека к Богу. Поймите это... Отвергнутая тайна Креста, есть отвергнутое пламя любви.

Отвергнуть Божью жизнь. Это не случается сразу.

— Шаг за шагом подготовляет себя несчастный к этому в течение всей своей жизни. Закопавший десять талантов скорее подготовит себя к убиению, чем закопавший один талант. Но и этот последний, не к жизни себя готовит.

Попущение Богом самоубийств телесных есть зов Божией трубы, кричащей миру о том, что:

1. Есть самоубийство духовное: атеизм теоретический и практический (при неоживляющей душу, мнимой вере в Бога);

2. есть у человека свобода произволения и (— что самое главное —)

3. существтвует во вселенной богоставленность.

Самоубийца (как и всякий грешник, соглашающийся на грех), говорящий о своей вере в Бога, не верит в возможность богоставленности. — Господь так милосерд — говорит он, принимая яд. Какая хитрая уловка зла, какое тонкое и кощунственное искушение.

Господь так милосерд — говорит блудник, идя на блуд, вор на воровство, убийца, идя на убийство. И то величайшее, святое святых, милосердие Божие, которое ведет нас к покаянию, грешники, знающие свой грех и остающиеся нераскаянными, обращают в оправдание своего преступления. Это все равно, что Иуда Искариотский, идущий предавать своего Учителя и Бога, говорил бы: —Господь так милосерд... Да, Господь силен простить и миллионы иуд, но лишь тех, которые «не ведают, что творят», и не создают в себе

самих геены томления, а узнав, что сотворили - каются великим плачем сердца перед Богом Спасителем. Самоубийство же «верующего» есть то лобзание, о котором предупреждает Церковь перед св. Чашей.

Св. Отцы, тонко знакомые с ухищрениями и методами действий бесплотного врага, говорят истину, которая подтверждается всюду, и которую надо знать всем: — До падения нашего бесы представляют нам Бога человеколюбивым, а после падения жестоким — (преп. Иоан. Лествичник).

За кого молился Господь на Кресте? Молился за тех распинателей, которые — не ведают, что творят —. За Иуду Господь уже не молился (не о всем мире молю... Иоанн 17, 9,) ибо сознательно грешащий есть — сын погибели —, и он должен непреложно пойти — в свое место —, по слову Евангелия (т. е. самоистребиться).

Закон самоистребления был так силен в Иуде, что даже после того, как он повесился, он — упал, и из него выпали внутренности. Для всей человеческой истории образ того, что физическое самоубийство есть лишь выпадение того, что внутри (т. е. самоубийства духовного).

Механической бездуховной спасаемости нет, как нет и бездуховной гибели.

Человек имеет свободную волю призвать на себя волю Божию, в Евангелии открытую, или не признавать ее, и тем оставить себя перед злой богостлавленной волей демонов.

И потому есть грех к смерти (Иоан. 5, 16). Грех противления жизни. Бог велел о нем написать апостолу любви, ибо этот грех — против любви, убийство своей любви к Богу: самоубийство.

Церковь не может совершать над самоубийцей ни отпевания, ни панихиды. С пением трисвятого Церковь провожает его останки до кладбища, вручая почившего Богу, каясь за него перед Пресвятой Тройцей. И — келейно умоляет о нем Творца. Но иного пения Церковь не может дать, ибо иное пение было бы неправдой, а Церковь никогда не говорит неправды. «Блажен путь воньже идеши днесь душе, яко уготовися тебе место упокоения» - (прокимен погребения) не может сказать Церковь, зная весь ужас души, самовольно оторвавшейся от тела. Не может Церковь сказать и того, что упование свое усопший возложил на Бога («На Тя бо упование возложиша, Творца и Зиждителя и Бога нашего...» слова панихиды).

И не ставится над самоубийцей Крест. На Кресте был распят Бог, претерпевший человеческую жизнь — весь ее позор и всю ее боль.

МЕТЕОРНАЯ МАТЕРИЯ ВО ВСЕЛЕННОЙ

Научно-популярный очерк

Свет есть основной агент Вселенной, он повествует нам о судьбе звезд. Наши знания силы притяжения дают нам возможность составить известное представление о массах и движениях отдаленнейших космических тел. Но есть еще вполне осязаемые посланцы Вселенной — это метеорные тела. Приходя к нам из бездны мирового пространства, метеориты, при особо счастливом случае могут попасть под витрину минералогического музея и быть изучены лабораторным способом. Я буду говорить о метеорной материи — метеоритах, а также и о метеорах, т. е. тех явлениях, которые вызывают метеорные тела при проникновении в атмосферу земли.

Кроме планет, астероидов и комет около Солнца движутся по различным орбитам — эллипсоидам и гиперболам холодные, не светящиеся тела, размер которых колеблется от величины микроскопической пылинки до нескольких метров.

Пути метеоров вокруг Солнца могут быть вычислены, а также может быть известно время их обращения вокруг Солнца по замкнутым элиптическим орбитам. Периоды их обращения вокруг Солнца обыкновенно от нескольких десятков лет до сотен.

Когда земля в своем движении вокруг Солнца встречает на своем пути — пути метеоров, тогда в атмосферу земли, со скоростями от 10 до 200 километров в секунду, врывается множество этих мелких космических тел; они, ввиде огненных струй, сгорают на высоте от 90 до 180 километров (над уровенем моря). Некоторые метеорные тела достигают поверхности земли, и, раскаляясь, взрываются; при этом производят разрушения, образуя воронки, так называемые „метеорные кратеры".

Когда земля проходит через точку пересечения своей орбиты с орбитой метеорног потока, тогда наблюдается особенное усилен-

ное явление метеоров, видимое на ночном небе. Если мы нанесем на звездную карту видимые пути пролетевших метеоров и продолжим их в направлении, обратном направлению полета метеора, то выяснится, что все они вылетают приблизительно из одной точки неба. Эта точка в метеорной астрономии носит название точки радиации метеорного потока, или радианта. Видимые пути метеоров на

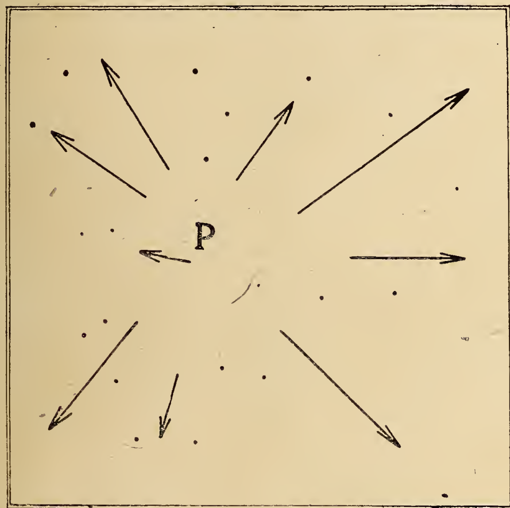


Рис. 1
Радиант метеорного потока

небесной сфере, суть только проекции их действительных путей в пространстве. На самом же деле, пути метеоров в пространстве параллельны, а наблюдателю только кажется, (в силу перспективы) что метеоры вылетают из одной точки неба. Эта точка радиации метеорного потока — радиант — показывает то направление, в котором земля встречает двигающиеся около Солнца метеорные тела. Из года в год мы наблюдаем, как 10-12 августа много метеоров по-

является из направления от нас на созвездие Персея. Этот радиант метеорного потока носит название „Персеид". Также 22 октября на осеннем небе падают метеоры из созвездия Ориона; им присвоено название „Орионид". И множество других потоков почти ежедневно появляются в той или иной точке неба.

Но есть метеоры, которые нельзя причислить к тому или иному радианту. Это так называемые „спорадические метеорные тела",они приходят к нам не по большим, уже известным дорогам Вселенной, а по едва заметным тропам.

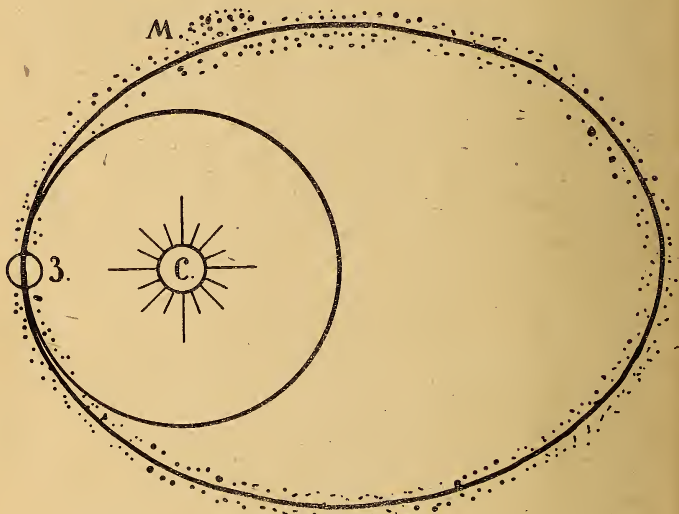


Рис. 2
Обращение метеорного потока около Солнца

Метеорная материя не всегда равномерно распределена по всему своему пути вокруг Солнца. Мы знаем, что существуют сгущения и, когда земля проходит такой уплотненный рой метеоров, то возникает в атмосфере земли дивное явление звездного дождя. Такой

метеорный дождь наблюдался 9 октября 1933 года. Число видимых глазом метеоров в одну минуту достигало тысячи. Радиант этого потока лежал в созвездии Дракона. Еще астроном Скиапарелли, давший астрономии теорию метеоров, указал, что орбита Персеидов (10-12 августа) имеет большое сходство с кометой 1861 года. После этого, трудами многих астрономов окончательно утвердились, что большинство метеорных потоков есть ни что иное как руины распавшихся комет.

В комете всегда различают более плотное ядро, атмосферу и хвост. Ядро есть центр кометы; он обращается около Солнца по законам тяготения Ньютона, хвост же подвержен всевозможным превратностям и изменяет свою форму под влиянием давления солнечных лучей.

Длина кометного хвоста может достигать одного миллиона километров, тогда как ядро, как например у кометы Швасмана-Вахмана и Понса-Винниер, всего 400 метров в диаметре. Ядро кометы не есть твердая, неизменная масса, не есть, также и жидкость, оно состоит из множества мельчайших тел, из которых каждое участвует в движении кометы, согласно 3-му закону Кеплера (кубы средних расстояний от Солнца, планет и других небесных тел относятся между собою, как квадраты их времени обращения вокруг Солнца) — это значит, что чем дальше от Солнца небесное тело, тем медленнее оно будет двигаться.

Что значит этот закон для кометы, не обладающей значительной массой? Это значит, что те частицы, которые лежат ближе к Солнцу в комете, будут стремиться уйти вперед в своем движении вокруг Солнца, а те которые дальше — будут стремиться отстать; если сила взаимного притяжения частиц в комете не способна противостоять этому стремлению, то с кометой произойдет то, что происходит с плохо увязанным возом соломы: солома рассеется по дороге, по которой следует этот воз. В ночь 27 ноября 1872 года в атмосфере земли прошел блестящий дождь падающих звезд. Это явление произошло вместо ожидаемой кометы Биэллы, которая после этого бесследно пропала. Источником последнего метеорного дождя 1933 года явилась комета Джекобини-Циннера. Под влиянием возмущающего действия планет орбита этой кометы ближе подошла к орбите земли.

История этой кометы такова, что на ней следует более подробно остановиться, в связи с метеорным потоком „Драконид". Комета

была открыта двумя наблюдателями в 1900 году, после этого она появлялась в 1913, 1926, 1933 и в последний раз в 1940 году. Период ее обращения около Солнца был установлен в 6,6 года.

В 1932 году английский астроном Кроммелин в „Руководстве Британского Астрономического Общества", заявил, что путь Земли пересекается с орбитой кометы 9 октября 1933 года в 21 час по мировому времени; что возможен дождь падающих звезд. Так оно и было. Между 20 и 22,5 часами м. в. 9.10.1933 года произошел феерический огненный дождь.

В этом текущем 1946 году в ночь с 9-го на 10-е октября ожидалось повторение того же явления. Но пасмурная погода с низкой облачностью, бывшая в это время в Средней Европе, не дала возможности наблюдать метеоры. И только, как можно судить по радиосообщениям, метеорный поток „Драконид" наблюдался над высочайшей точкой Баварии — Цуг-Шпицем (2.963 м.у.м.), где облака в эту ночь спустились ниже вершины горы и в ясном небе можно было сделать много интересных наблюдений. В свою очередь на Американских обсерваториях были произведены интересные фотографические наблюдения этого потока метеоров.



Рис. 3
Снимок метеора сделанный американской обсерваторией на сверхчувствительных пластинках. Огни города оказались слабые света метеора.
Фотография заимствована — New York Herald Trubune.

Из всего изложенного, возникает еще одно положение: то что старые метеорные потоки, наблюдавшиеся в глубокой древности, не дают максимума выпадения метеоров, т. к. вещество распавшейся кометы успело рассеяться по всей орбите, тогда как молодые,

недавно образовавшиеся метеорные потоки, дают блестящие метеорные дожди.

Ежедневно выпадают на землю ввиде метеоритов, болидов (большие метеоры) и космической пыли около 3500 тонн материи. Это вес множества миллионов метеорных тел; каждое из них в течение долей секунды сгорает в атмосфере и уже ввиде пыли оседает на земную поверхность. За миллион лет на каждый квадратный метр нашей планеты осядет 7 тонн метеорной материи.

Но иногда тела значительных размеров достигают поверхности земли. Так было утром 30 июля 1908 года в Сибирской тайге. В атмосферу нашей планеты вторглось колоссальное космическое тело, оно двигалось под небольшим углом к горизонту, со скоростью нескольких десятков километров в секунду; пролетев в атмосфере 500 километров, и благодаря своей колоссальной массе, почти сохранив космическую скорость, оно упало в районе реки Хушмы, правого притока Подкаменной Тунгузки. Метеорит во время своего движеиия был светло-голубого цвета и излучал очень яркий свет, оставляя за собой след, приблизительно в 3 километра шириной. Метеорит наблюдался с поезда Транссибирской железной дороги, около станции Канск, при чем машинист локомотива услышал страшный гром с раскатами и даже решил, что взорвался его паровоз. При ударе метеорита в почву, последняя обратилась в газообразное состояние. Огненный столб взрыва достиг высоты 20 километров и был виден за 450-500 километров.

Очагом взрыва оказалась значительная область в 20-30 километров диаметром. Под действием очень высокой температуры на деревьях исчезли ветки и остались одни обгорелые стволы. Это так называемый лес „телеграфных столбов". Вся область сильно поврежденного леса равна приблизительно 1200 кв. километров. Взрыв был слышен за 700 километров от места падения. Воздушная волна была отмечена барографами во многих пунктах земли, в том числе в Потсдаме и Вашингтоне. Взрыв вызвал также колебание земной коры. Уже впоследствии астрономы расчитали: если бы этот „тунгузский метеорит" приблизился к земле на 4 ч. 48 м. раньше, то центр взрыва оказался бы в тогдашнем Петербурге.

Другой случай падения грандиозного метеорита с образованием кратера произошел в Соединенных Штатах в пустыне Аризона, это так назыв. „Canon Diablo"

Так как до сих пор некоторые индейские легенды говорят об

этом событии, то предполагают, что событие падения этого метеорита произошло в исторические времена, приблизительно 5.000 лет тому назад. Воронка, образованная упавшим метеоритом равна в диаметре 1200 метров, а глубина от дна до гребня вала выброшенной породы 174 метра. По определению артиллеристов, чтобы совершить такую работу, нужен был железный метеорит 150 метров диаметром и в 10.000.000 тон веса.

Кроме „Canon Diablo" известны метеорные кратеры в Австралии „Henbury" в Техасе, на острове Эзеле. Особенно интересен кратер на Золотом берегу Африки, так наз. озеро „Bosumtwi" диаметром в 8 километров. Этот кратер уже впоследствии наполнился водой. Метеоры, упавшие на землю недолговечны. Втечении десятилетий они разрушаются и поэтому в старых метеорных кратерах обнаруживаются обычно только осколки или же следы химических элементов метеорита. Из метеоритов, сохранившихся до сего дня наиболее крупным является камень, упавший в 1920 году в Северо-Западной Африке, так наз. „Нова" вес его 60 тон. Этот метеорит содержит 84% железа и 16% никеля. Он является представителем железных метеоритов. Кроме железных метеоритов известен класс каменных, состоящих в среднем из 36% кислорода, 25% железа, 18% кремня, 14% магния и др. Этот класс каменных метеоритов наиболее многочисленный. В химический состав метеорита входят почти все элементы периодической системы Менделеева, даже обнаружено 0,0004% золота, 0,00000000001% радия; последнего значительно меньше его процентного содержания в земной коре. Железно-никелевые метеориты имеют кристаллическое строение; отшлифованная поверхность метеорита протравленная кислотой вся пересечена линиями. Это так назыв. „видманштетовы фигуры", хорошо известные из любого элементарного курса минералогии.

Наша земная атмосфера является надежной броней, защищающей нас от „бомбардировки метеоритами": в атмосфере большинство метеоритных тел теряют свою скорость и распадаются в пыль. Спутник Земли Луна, как известно, лишена атмосферы и этим поставлена под удары несущихся из пространства метеоритных тел. Поверхность Луны покрыта десятками тысяч углублений; все они весьма однотипны: круглая воронка, окруженная валом, а на дне воронки — в центре конусообразная вершина; диаметр этих воронок достигает 200 километров. Особенно загадочными являлись несколько десятков лунных кратеров, от которых свет-

лыми полосами расходятся лучи. Загадочные лучи тянутся на протяжении сотен и даже тысячи километров, при чем, проходя через лунные горы, не изменяют направления. По последним работам американской обсерватории „Mont Willson" выяснилось, что эти полосы являются невысокими насыпями (несколько метров высоты) какого-то измельченного вещества. Если предположить, что метеорные тела также часто падали на поверхность земли, как и на поверхность луны, то за 2 миллиарда лет существования луны каждый кв. километр ее подвергся удару метеорита, и поэтому не лишено вероятности, что лунные кратеры или цирки являются гигантскими воронками, былыми следами падения метеоритов.

По мнению автора, светлым лучам лунных кратеров можно дать следующее объяснение: при повторных попаданиях метеоров на дно уже существующих кратеров, вещество, выброшенное взрывом, вызванным падением метеорита, выбрасывалось за пределы кратера через проходы и углубления в кольце валов. Эти естественные проходы давали направления веществу лучей.

Другим, несомненно метеорным образованием, в солнечной системе является кольцо Сатурна. Теорию Кольца дал английский ученый Максвелл (1857 г.) Дальнейшей разработке эту теорию подвергла София Ковалевская. Эти ученые указали, что Кольцо может существовать как устойчивое образование только тогда, если оно состоит из колоссального количества крошечных метеоров-спутников планеты. Спутники эти широким и тонким поясом обращаются вокруг планеты (Ширина кольца 100,000 километров, толщина всего порядка 30 километров). Одним из доказательств метеорного строения Кольца является то обстоятельство, что через Кольцо просвечивают звезды.

Само солнце окружено чечевицеобразным скоплением тончайшего метеорного вещества: оно наблюдается нами как зодиакальный свет.

Это явление, повидимому, побудило древних египтян изображать Солнце с крыльями. Под южными широтами, в горных странах, с хорошим прозрачным небом это явление особенно ярко наблюдается весной, вечером, после захода солнца, или же осенью перед его восходом. На небесном своде со стороны Солнца поднимается жемчужно-белое сияние, которое проходит ввиде конуса по зодиакальным созвездиям. (Автор наблюдал его до самого зенита и даже соединенным с так наз. „противосиянием"). Спектральные наблюде-

ния за зодиакальным светом установили, что он посылает нам отраженные солнечные лучи. Это вполне подтверждает то предположение, что зодиакальный свет — есть скопление метеорной пыли около Солнца. Весьма вероятно, что это скопление простирается и за орбиту земли; плотность его весьма незначительна.

Присуща ли метеорная материя только Солнечной системе?

На это можно сейчас ответить с значительной уверенностью: — нет. Обычная скорость метеоров по отношению к земле равна нескольким десяткам километров. Эти метеоры являются пленниками Солнца, они движутся по замкнутым элиптическим орбитам. Но есть метеоры, которые движутся со скоростями 140-150 километров в секунду. Их не в состоянии удержать наше Солнце. Они приходят к нам из пределов Млечного пути, огибают солнце по гиперболам и уходят опять куда-то к звездам. Их полет длится десятки миллионов лет. Немецкий астроном Hofmeister (обсерватория Зонненберг, в книге „Probleme der Kosmische Physik (Psd 17) сообщает, что по данным экспедиции, которой он руководил в тропических странах, объясняется вопрос: почему в осенние месяцы возрастает общее число метеоров в обоих полушариях. В эти месяца земля проходит через два потока, которые действуют из направления созвездия Телец и Скорпион. Эти метеоры приходят к нам из за пределов нашей Солнечной системы из бесконечности и уходят также в бесконечность. Как какие то перелетные птицы Вселенной движутся эти рои крошечных тел. Сделав путь, продолжительностью в сотни миллионов лет, по пустыням мирового пространства, некоторые из них как бы наталкиваются на препятствия и в течение долей секунды сгорают ввиде блестящего фейерверка; и только в редких случаях наш глаз встречается с этой огненной смертью метеора, пришедшего из неведомых пространств.



Рис. 4
Редкая фотография метеора, вместе со спиральной туманностью Андромеды.

Какова судьба? Так, может быть, и наша душа, пришедшая в мир из веч-

ности, после краткой вспышки яркой или тусклой, уходит опять в вечность.

Поглощение света звезд в мировом пространстве говорит за то, что пространство это не абсолютно пусто. Мировое пространство очень редко заполнено атомами натрия и кальция. Но кроме этой материи во Вселенной есть еще облака, вернее, туманности, состоящие из мелких пылеобразных метеорных частиц; они светятся благодаря отраженному свету ближайших звезд, но они могут также и закрывать собою звезды и поглощать их свет.

Астроном Гершель назвал черные туманности на фоне Млечного пути „угольными мешками". Мы видим гигантскую туманность в созвездии Ориона (удален. от нас приблизительно на 600 световых лет). Эта туманность освещена близко лежащими звездами, так наз. „трапеции Ориона") Эта грандиозная туманность частично закрыта черным, как клубы дыма от нефтяного пожара, облаком, имеющим форму лошадиной головы. Это — темная, пылевая туманность.



Рис. 5
Туманность Ориона

Мы видим, что некоторые звезды имеют не ту видимую величину, какую они должны иметь по нашим теоретическим предпосылкам. Это значит, что их свет поглощен какой то между ними и Землей лежащей средой. Во вселенной, как в море, по которому стелется клочковатый туман, огни берега будут казаться не теми, чем они являются на самом деле. Среди сонма блистающих звезд черные клочья темных туманностей могут закрывать от нас некоторые области мира. Так, по предположению астрономов, в направлении созвездия Змееносца совсем недалеко от солнечной системы начинается одна из подобных темных туманностей.

Фотографические наблюдения за отдаленными спиральными туманностями, другими млечными путями, отстоящими от нас на мил-

лионы световых лет, показывают, что и в их светящиеся спирали, состоящие из большого числа звезд, вплетается темная, не светящаяся материя.

Из всего сказанного можно сделать следующий вывод. Кроме „видимых" небесных тел — самосветящихся или светящихся отраженным светом, во Вселенной существует еще „темная материя" о существовании которой мы узнали только косвенными путями, но роль которой в круговороте вещества Вселенной может быть не меньшая, чем наблюдаемых „видимых" небесных тел.

Октябрь 1946 г. *Д-р НИКОЛАЕВ*

ИЗ РУССКОЙ ПРЕССЫ В АМЕРИКЕ

О воинстве и христианстве

В выходящей в Сан-Фрянциско русской газете „Новая Заря" (в номере от 10 мая 1946 г.) было напечатано письмо в Редакцию одной „прихожанки нового Берклейского Прихода" по поводу имеющихся политических течений в местной русской православной церкви. Ответом на него явилось новое письмо в редакцию со стороны проживающего в Калифорнии о. Архимандрита Иоанна, напечатанное под заголовком „Размышления по поводу ревности церковной", где письмо прихожанки выставляется в качестве „типичного образца того, как не надо писать по церковному вопросу" („Новая Заря" 23 мая 46 г.). Вскоре тема беседы о ревности церковной была в „Новой Заре" (от 1-го июня) расширена г. Кривошеиным, который поднял новый принципиальный вопрос о благословении церковью воинов. И уважаемый о. Архимандрит Иоанн счел нужным отозваться в той же газете на тему „О воинстве и христианстве" с точки зрения православной церкви.

Г-н Кривошеин, пишет Архимандрит Иоанн, против благословения воинства и очень строг в отношении всех священнослужителей,

которые как либо, и с какой либо стороны, благословляли воинов. Он считает, что благословение воинов есть благословение убийства и противоречит заповеди Господней: — не убий —... Так как наше расхождение во взглядах с г-ном Кривошеиным не есть проявление только наших личных религиозных чувств, но касается самой глубины общего религиозного понимания жизни, то я считаю нужным высказать и православную точку зрения в этом вопросе.

Православная Церковь, от апостольских дней до нашего времени выражает несомненно всю чистоту истины Слова Божия, хотя мы, служители этой полной истины, бываем (в этом прав г. Кривошеин) иногда ей не соответственны. Принимаем вину на себя, но на Церкви, на ее св. учении, нет никакой вины перед человечеством. Церковь гораздо глубже всех наших человеческих, как — милитаристических — так и — пацифистических — рассуждений. Какова же истина Церкви. В чем отличие ее опыта от опыта нашего уважаемого оппонента. — Благословение Церкви, даваемое воинам, совсем не есть — благословение убийства —, как ошибочно думает г. Кривошеин, но благословение-на жертву, на страдание, на положение жизни своей за ближних, для ближних, вместо ближних... Никогда Откровение Божие, ни Ветхого, ни Нового Завета, не считало воинов убийцами —. Только бесчестные воины, грабители-мародеры, насильники считались не воинами, а убийцами. Если взять священное писание не отрывками, а в его чудном целом, то совершенно ясно видно в нем, что ни Иоанн Креститель, ни Сам Спаситель, ни Его апостолы никогда не отвергали и не унижали воинского звания, как это считает для себя возможным делать г. Кривошеин. Господь милостиво исцелял, по просьбе воинов, их близких, не обличая их самих, и св. Корнилий сотник, и сделавшись христианином, не ушел из воинского звания. Когда воин в числе всех других людей, приходили покаянно к Иоанну Крестителю, он не отвергал их воинства, но только говорил им: никого не обижайте, не клевещите и довольствуйтесь своим жалованием (Лука 3, 14). Церковь, Носительница духа Откровения Божия, тоже не унижает воинов, и никогда не унижала их в истории: но, наоборот, она их нравственно возвышает, на их очень трудном, ответственном, требующем ангельского бесстрастия и бескорыстия пути. Не говорим уже о весьма красочных и весьма ценных для понимания истинного воинства, примерах Ветхого Завета и о том вожде религиозного человечества, св. пророке Божьем Моисее, которому, как раз, была дана заповедь, вспомянутая г-ном Кривошеиным, — не убий —. Может быть г-н Кривошеин

вспомнит, что отношение сего пророка к воинам было несколько иное, чем то, которое он, г-н Кривошеин, считает правильным.

Большая духовная ошибка и моральная несправедливость видеть в воинах людей только убивающих и не видеть в них — со всех сторон — людей жертвенно-умирающих и страдающих, за общие грехи мира, за грехи не только милитаристов, но и пацифистов. И в самом трагическом и почти никем не желаемом явлении войны, неверно видеть только — убийство —... Война есть суд Божий над человечеством, вскрытие непрочности этого земного существования, открытие призрачности ценностей материальных, которыми, в каждую эпоху, слишком увлекается человечество... Война есть признак общей болезни человечества, следствие болезни, а не ее причина... Оттого Церковь гораздо миролюбивее и человечнее относилась и относится к воинам, чем отвлеченные моралисты. Из сих последних, особенно Л. Толстой воинствовал против воинов и видел в них только убийц. Впрочем, его собственное художественное творчество правдиво опровергало его односторонне моралистические теории и показывало миру типы жертвенных воинов-христиан.

Напрасно г-н Кривошеин, по излюбленному примеру пристрастных противников христианства, обвиняет Церковь, что Она, в разных местах и странах, благословляет воинов, даже единой веры, на войну между собой. Если взять не поверхность этого факта, а его трагическую сущность, то становится ясным, что Церковь не имея на сей земле никакой мировой земной политики, всегда, на всяком месте становилась и будет становиться рядом со страждущим человечеством. Она во всех народах одинаково напутствовала и будет напутствовать человека на его жертвенных путях и будет поднимать эту жертву к Престолу Божию. От утробы матери, до последнего вздоха человека, Она стоит на человеческих путях в мире. В этом Ее слава и величие, что Она, как Сам Господь истощается, снисходит с неба на грешную землю, для спасения каждой погибающей овцы и не гнушается трудными, трагическими (грешными общей греховностью человечества) путями в этом мире. Она благословляет воинов сохранить свою человечность, углубить ее и возвысить среди неизбежных страданий войны... Отвлеченные моралисты, рационалисты никогда не поймут этой материнской любви Церкви. Они будут все указывать на — политиканствующих — священнослужителей, не четко различающих, а иногда и совсем смешивающих Божее и человеческое. Истину Церкви, конечно, как и

все небесное, можно затемнить, но ее светлую небесную глубину нельзя ни опорочить, ни опровергнуть.

В войнах виновно все человечество. И люди с пацифическими теориями в них так же виновны, как и люди с милитаристическими теориями. Ибо не только теориями своими грешит человек, и не только своими поступками, но грешит и малостью, несовершенством своих поступков добрых, не достаточной любовию своей.

Война есть огненное бедствие-следствие общего греха. Совсем недавно нам пришлось быть среди этого бедствия в Европе, и мы его знаем, даже в самом его апокалипсическом аспекте. Церковь не благословляет войну, как не благословляет ни землетрясений, ни тайфунов, ни пожаров, ни болезней. Но если разразилось бедствие в стране, вспыхнула война, запылал ее пожар, дело Церкви не в отвлеченном (хотя бы и самом правильном) морализировании, но в действенной помощи агонизирующему человечеству, в поддержке живого человека на новом страдальческом пути его. Надо Церкви понести крест человека, и, идя рядом с ним в мире, духом неотмирным помочь ему сохранить его человечность, его взор поднятый к небу... Здесь задача Церкви, особых ее сынов-пастырей, никакого оружия, кроме оружия Слова Божия и Креста, не носящих.

Нам пришлось быть теперь, в Европе, свидетелями пастырской работы военных священников Американской Армии... 15 походных церквей-автомобилей обслуживало каждую дивизию. 14 священников и пасторов-христиан, и 1 раввин были ее пастырями. Как все было организовано, как все было предусмотрено... И живое благое влияние шло от этих молодых жертвенных душ, в воинской офицерской форме, не плотским, но духовным оружием вооруженных. Мы видели, как действовало это небесное оружие, сколько очищения, укрепления и утешения оно вносило в сердца, стоящие пред лицом вечности...

Если бы наш уважаемый оппонент видел эти плоды прекрасного служения, он бы понял, как оно было нужно и для самих воинов, и для тех, кого они освободили; и также для тех, кого они победили.

— По плодам — познается всякое дерево. Плодами проверяется всякое дерево.

Лос-Анжелос *Архимандрит ИОАНН (Шаховской)*

ОГЛАВЛЕНИЕ

APPROVED BY UNRRA
Team 108